

Ввели подсудимого. Кузовков сразу не понравился судьё Ходыреву. Худой, нервный, весь какой-то перекрученный. Огромный кадык на длинной плохо выбритой шее. Глазки маленькие, испуганные, хитрые. Но это сейчас они испуганные. Павел Евграфович знал, какими пустыми и безжалостными бывают эти глаза в момент насилия, в момент убийства.

На следствии Кузовков был изобличён полностью. Под давлением улики признался во всём. Суд должен был быть быстрым, суровым и справедливым. Хмуρο молчали сидевшие в зале люди. На второй скамейке слева сидели родственники Маши Кротовой – мать, братья, две тётки, кто-то ещё. Коротко и глухо говорили свидетели. Грозную речь произнёс прокурор. Среди вещдоков особенно выделялся гипсовый слепок следа на дороге: чётко было доказано, что это след от колеса трактора Кузовкова. Всё совпадало – и день, и час, и ответвление лесной дороги. «Здорово иногда работают эти архаровцы, – думал судья, – сколько хозяйств проверили, да ведь нашли же...».

Неожиданно плавное течение суда было нарушено. Кузовков отказался от своих показаний. Плачущим, почти рыдающим голосом он стал говорить, что признался лишь после мучительных избиений. К тому же следователь якобы сказал ему, безжалостно глядя в глаза: всё, брат, улики против тебя; не признаешься – точно кокнут, не сомневайся; если же чистосердечное – дадут лет восемь-девять, за хорошее поведение отпустят через шесть, вернёшься красавцем. А опыт какой получишь! Девки таких опытных да пострадавших знаешь как любят! А так... Рассуди сам.

Павел Евграфович считал себя человеком добрым, даже либералом. Уж по крайней мере не судья Никольский. Этот готов был рубить головы за украденный мешок комбикорма. А Ешонкина, знакомая судья из Подмоскovie? Марь-Палана, кажется. Она такое мнение выдвигала: как же не побить! Ежели следователь как следует не побьёт, то кто ж сознается? Нет! Павел Евграфович не таков. В одном только случае становился он непреклонен: когда речь шла об убийстве или изнасиловании молодых женщин, а особенно – детей. В его голове тогда грозно и даже с каким-то звоном раздавался шепот: око за око...

Кузовков говорил много, путано, шмыгал носом. Павел Евграфович оглянулся на старшего следователя Луковцева. Тот, широкоплечий и грузный, сидел в своём неизменном джемпере, поверх которого на все пуговицы застегнут мешковатый пиджак с орденской планкой. Он давно затаил ироническую усмешку в углах рта. А сейчас позволил себе довольно громко хмыкнуть. Владимир Андреевич Луковцев был опытным следователем, с огромным авторитетом. На его счету раскрытий – не счесть. Не верить ему оснований не было.

И всё же Павел Евграфович решил уточнить.

– Вот вы, Кузовков, жалуетесь, что вас били...

– Ещё как, гражданин судья. В кабинете два раза. Я, считайте, сознание терял. А в камере – так каждую ночь. Подсаживали ко мне таких соседей... безжалостных... – Он шмыгнул носом и криво, жалко улынулся.

– Допустим. Где следы избиений?

– Да вот они, везде, – подсудимый задвигал своими мосластыми рычагами.

– В деле нет соответствующих справок от врача, – сказал судья. – А кто же вам поверит на слово? – Он почему-то пригляделся к ушам Кузовкова. Крупные, некрасивые, с приросшими мочками. «Смотри-ка, точно по Ломброзо – преступный тип».

– И вы, сильный молодой мужчина, из-за каких-то там избиений повесили на себя убийство? – с ноткой презрения спросил Павел Евграфович.

– Да-к он же сказал, что иначе расстреляют. – Кузовков, сдерживая прорывающийся страх, усталился на Луковцева.

Тот снова хмыкнул.

– Ну хорошо, – сказал Ходырев. – Объясните тогда суду ещё раз, где вы были в тот день с шестнадцати двадцати до семнадцати?

И Кузовков снова начал путаться. По одной версии он лежал пьяным. И его, естественно, никто не видел, поскольку пьяным он не любит показываться на глаза и прячется где-нибудь в дальнем сарае на сеновале. По другой версии, он только ещё ехал на своём тракторе в Мартьяново за водкой. Но была у него и третья версия. Будто бы он ехал в лес заготовить слепи для строительства забора, которые ему заказал... А вот кто заказал, он вспомнить не мог.

«Изворачивается, сволочь», – подумал Павел Евграфович. Он вдруг явственно увидел растерзанное тело Маши Кротовой, и его затопило какой-то клокочущей яростью. Внешне он остался спокоен. И при выработке решения легко сломял робкое сопротивление одного из заседателей. Он и сам понимал, в следственном деле были и проколы, и пробелы. Да разве ж без них бывает?

Когда в зале объявили приговор – к высшей мере – люди одобрительно загудели. Родственники обняли измученную Машину мать. Кузовков невидяще оглядел зал и вяло махнул рукой.

Через полгода в деле осуждённого тракториста появилась последняя запись: «Приговор в отношении Кузовкова Андрея Трофимовича приведён в исполнение. Прокурор Российской Федерации, государственный советник юстиции I класса такой-то...». А ещё через восемь месяцев в Суховерковке поймали серийного убийцу Шлыгова, на счету которого только раскрытых оказалось двадцать три смерти. Маньяк Шлыгов особенно не таился и подробно, в деталях, рассказал, как в числе прочих он изнасиловал и убил двадцатидвухлетнюю продавщицу Марию Кротову. Даже объяснил, куда дел сорванные с шеи девушки грошовые бусы. К тому времени следователя Луковцева уже два месца как проводили на заслуженный отдых. Проводы вышли торжественные, присутствовало почти все городское начальство.

Время летело быстро. Как-то ранней тёплой осенью Павел Евграфович, желая хоть ненадолго спрятаться от судороги перемен, три недели провёл в Геленджике, в санатории для почётных юристов. У него был странный сосед по комнате. Человек милый, вежливый, но чрезвычайно неразговорчивый. Три или четыре раза судья пытался разговорить соседа, но ничего не вышло. Тот всякий раз закручивал какую-то невразумительную фразу и замолкал, надолго погружаясь в чтение. После этого пропадало желание поговорить и у Павла Евграфовича. И он принимался за газеты, перемежая политические новости кроссвордами. Сосед уехал на два дня раньше, оставив на тумбочке книгу. Целые сутки Павел Евграфович не обращал на неё внимание. А потом взял-таки в руки. А взявши, даже крикнул. Книга называлась «Человек и смерть». Имя автора – Хосе Рамирес – ничего не сказала судьё Ходыреву. Из предисловия он узнал, что автор – мексиканский философ из Автономного Университета Нового Леона, человек весьма почтенного возраста, последователь Канта и Ортеги-и-Гассета. Кто такой Ортега-и-Гассет, Ходырев не знал, однако книгу не закрыл.

Проглядев оглавление, Павел Евграфович обратил внимание на короткие, хлёсткие названия глав: «Что такое смерть?», «Одиночество и путь человека», «Смерть и творчество», «Что такое убийство?», «Почему убивать дурно?», «Можно ли оправдать самоубийство?», «Убийство и польза»... Ух ты! Да, такую книгу открыв, не очень-то быстро закроешь.

Поначалу язык книги показался Ходыреву на редкость мутным. Одолев с горем пополам примерно страниц сорок, он вздрогнул и начал читать лихорадочно.

Дело в том, что мексиканец после зубодробительного, малопонятого вступления неожиданно обратился к жизненным примерам. «Прежде чем углубиться в дальнейший анализ, позвольте мне рассказать небольшую историю» – так объяснил он смену ритма и начал вдруг рассказывать простыми живыми словами историю некоего судьи из города Сьюдад-Хуареса, который осудил на смерть худого нервного человека, и не просто худого, а с приросшими мочками. Странная деталь. Ходырев насторожился. Что уж там говорить, конечно, этот несчастный оказался невиновен. Выяснилось это уже после того, как беднягу расстреляли на заднем дворе глинобитной мексиканской тюрьмы. Философ пытался ответить на вопрос, является ли судебная ошибка самым настоящим убийством, преступлением, которое нельзя оправдать? Когда Павел Евграфович наткнулся на имя Чезаре Ломброзо (а именно это имя почему-то твердил про себя мексиканский судья во время процесса), его, судьё Ходырева, бросило в жар. Несколько минут он даже не видел букв. Но потом пересилил себя и стал читать дальше. Но чтение пошло медленней, и заканчивал книгу он уже в поезде. Никогда прежде Ходыреву таких книг читать не приходилось. Он вообще не мог припомнить, чтобы в философских текстах рассуждали о смерти. Смерть всегда казалась ему чем-то понятным, неизбежным, печальным, а то и – мрачным, кровавым и грязным. Этого убили, эту задушили, засунув в рот платок, тот сам загнулся от плеврита-гайморита. Увы, сплошь и рядом. При чём здесь философия?

Что помнил о ней судья Ходырев? Со студенческих лет у него остались смутные воспоминания о каких-то скучных законах и нудных категориях. Учебники толковали о каких-то безличных и надличных мирах. Познаваемое, непознаваемое... Возможное, действительное... Основной вопрос... Противоречия... Роль труда... При чём здесь смерть какого-то конкретного Ивана Ивановича на койке областной больницы? И при чём здесь сам Иван Иванович? Его ежедневная круговерть. Его нужды. Голод. Страх. Чувство вины. Понятно, чем тут заняться юристам. А философы? Павел Евграфович трудов их не читал, не считал возможным тратить на это время. Он вдруг вспомнил, что его одно время привлекало, хотя и немного смущало, выражение «категорический императив», рождающее смутные ассоциации с военным категорическим приказом. Императив – да, это очень верно. Если не приказывать, если строго не спрашивать, то как же быстро они все разболтаются. И так разгильдяев и пьяниц полно. Расхитителей и хулиганов. Лодырей и воров. *Они все*. Так он воспринимал людей. С кем строить народное хозяйство? С кем крепить страну? Эх!

«Мы уверены, – писал мексиканский автор в предисловии, – что прежде истины о человеке существует человек как таковой. Мы никогда не поймём значения человеческого существования, изучая его извне – и только извне. Для того чтобы иметь представление о человеке, я обязан заглянуть глубоко внутрь себя, увидеть новую землю и новое небо, должен проживать себя в подлинном опыте, как создание, которое, ощущая свою изначальную недостаточность, конечность и болезненную разорванность, стремится, однако, к спасению, к целостности существования. В этом стремлении я преодолеваю самого себя, я перехожу в иное, высшее состояние. Говорить о личности – значит говорить о самообладании – бытии для себя. Но что означает бытие для другого? Возможно ли не быть для себя? И что тогда означает смерть?»

Философия человека не может избежать темы смерти. Потому что и вам, и мне необходимо знать, почему мы умираем и для чего живём, раз нам суждено умереть.

В этом вещном мире мой дух бессилен без моего тела, потому что он не является чистым духом, но лишь воплощённым духом. Мир, который меня окружает, известен мне посредством моих глаз, ушей, нервов. Тело образует меня – если не всего, то видимую часть. Оно делает меня грубо телесным и связывает с вещным миром. Я не могу, даже если бы захотел, превратиться в животное или бесплотного ангела. Вот почему уничтожение тела создаёт проблемы духу. Разрешимы ли эти проблемы? На этом ли пути мелькнет луч бессмертия?

В хрупком сосуде, каковым является человек, существует как движение вниз – к Ничто, так и подъём вверх – к Абсолютному. Мы, люди, – не более как мистическая амальгама пустоты и вечности. При анализе жизни и смерти всегда необходимо помнить о том, что человек, хотя и представляет собой Ничто (составляющая печали), всегда поддерживается Кем-то (составляющая надежды). Ошибки и даже страшные просчёты случаются, когда мы путаем относительное и абсолютное. Когда мы не готовы воздать Абсолютному в полной мере».

Сосед в купе оказался полной противоположностью предыдущего. Весёлый, кашляющий, громыхающий человек ел, пил и говорил непрерывно. И очень обижался, когда Павел Евграфович отвечал односложно и замолкал надолго. Книгу приходилось читать урывками.

«Обращая взгляд в глубину себя, человек осознает свою свободу. Я есть свобода. Я должен сделать себя. Я могу быть тем, чем должен быть. И становится пронзительно ясно – свобода не принадлежит мне, это я принадлежу свободе. Если мысль о земных утехам печалит нас и даже унижает, то это потому лишь, что она нередко проходит по касательной по отношению к подлинной природе нашего свободного существа. Свобода открывает нам доступ в царство духа. С её помощью мы спасаем себя от падения и провала, потому что свобода предназначена для спасения и, тем самым, – для помещения моего Я в область нетленного. Вот почему моя свобода не может быть никому передана. Вот почему во весь рост встаёт трагедия смерти. Моя смерть – это только моя смерть. Никто иной не может и не волен умереть моей смертью. И никому уже не воспользоваться моей упорхнувшей свободой. Впрочем, остаётся тайна творческого влияния упешших на земные дела.

Смерть присуща жизни. Она знаменует её конец и формирует её траекторию.

Смерть всегда присутствует в качестве неумолимой и уничтожающей угрозы. Она есть неустрашимый риск, поглощающее одиночество транс, разрыв, диссонанс, давящая пытка Ничто.

В смерти наше существо приближается к своим размерам: мы умираем – либо с любовью, тёплой причастностью к другим и в единении с Богом, либо – с гневом, исключая других и отступая от самих себя. В этом смысле жизнь – это приготовление к смерти. Выбор между упомянутыми крайностями в окончательный миг – это наш выбор. Тут Господь оставляет нам свободу».

Когда от сложного теоретического текста автор – каждый раз резко и неожиданно – «Прежде чем углубиться, позвольте мне рассказать...» – переходил к насыщенным жизнью, а то даже и преступлениями, примерам, Павел Евграфович оживлялся.

Скажем, подробно и живо обсуждалось отношение общественности к самоубийству – в мексиканском и американском обществе, с одной стороны, и в японском – с другой. Если, допустим, японский бизнесмен, уличённый в финансовой нечистоплотности, делал харакири, это считалось достойным для него выходом. В Америке же самоубийство провинциального бизнесмена этически расценивалось не выше, чем побег от полицейского. В православии же самоубийство считалось двойным грехом – покушением на жизнь как на дар Божий и страшным грехом неверия.

По ходу дела автор не без юмора прошёлся по поводу существующего в Мексике национального Дня Смерти. Оказалось, что этот почти весёлый праздник корнями уходит в языческое индейское прошлое страны, в те времена, когда смерть встречали радостно – как ступень к новой и, возможно, лучшей жизни. В Мексике в этот день принято дарить друг другу пирожные в виде черепов, на лбу которых белой глазурью весело пишется имя того, кому этот череп преподносится. Павел Евграфович вообразил свой собственный череп на подносе – из зефира, шоколада и крема – и усмехнулся.

В другом месте разбирался случай некоей Доры, которая отравила собственного больного дядюшку – то ли из-за сочувствия к его страданиям, то ли из-за наследства в пятьсот тысяч песо. До этого дядюшка взял с неё слово, что деньги будут пожертвованы художественной галерее. А племянница будто бы решила отдать их в детский приют. Философ одновременно пытался решить вопросы эвтаназии, верности данному обещанию, проблемы воздаяния, возмездия... Там не всё было ясно, и Ходырев с интересом прикидывал различные варианты следствия и суда.

Рассматривались и совсем неприятные случаи, скажем, убийства молодыми матерями своих детей. Вставали жуткие картины, невероятные по выдумке и жестокости детали, но Ходырев знал всю эту изнанку жизни и читал спокойно, с ровным интересом.

Но порой его бросало в дрожь.

В одном из отступлений вновь появился судья из Сьюдал-Хуареса. Но уже в новой драме. Он должен был судить бандита, убившего своего напарника. *Убийцу вводят в зал. Судья смотрит и бледнеет...*

– Дорогой сосед, не откажетесь от рюмки коньяку? Настоящий. Друзья из Молдавии прислали.

– Да, да, – механически отвечал Павел Евграфович и, морщась, выпивал полстакана тёплого коньяка неизвестного разлива.

«Возможность сказать *нет* просьбам тела, тирании прошлого и мирским соблазнам представляет собой высшую доблесть, которой может быть отмечена человеческая свобода. Я могу восстать против моего прошлого, против ошибок и вины, обращая их в истину и добродетель. Чудесная алхимия! Признаваясь себе и рассказывая о моей прошлой вине, я могу освободить себя от поражения и направить свою жизнь в новое русло. Я ли убил, меня ли убивали? Я сеял смерть? Смерть посеяла меня? Насколько я вправе распорядиться своей жизнью? Насколько я вправе выбирать свою смерть? И главный вопрос – насколько я вправе распорядиться жизнью чужой?»

Путь мой, несмотря на моё прошлое, всегда может быть изменен. Без свободы не было бы возможности воссоздать себя заново, а без возможности возрождения вообще не стоило бы жить эту жизнь. И уничтожать эту смерть. Ибо всякое возрождение отодвигает смерть, а в предельном случае – упраздняет её. Стало быть, жизнь и смерть не всегда находятся в неразрывной сцепке».

– Да, жуткие наступили времена. В магазине коньяк покупать опасно.

– Опасно, – отзывался Павел Евграфович, не поднимая глаз от книги.

«Сейчас все твердят о действии. Демагоги, эти подвижники самоотчуждения, безвозвратно стубившие не одну цивилизацию, преследуют людей за простую привычку мыслить. Нас тянут в новую стадность, не давая пребывать *наедине с собой*. Сея то страхи, то пошлое ликование, людей вытаскивают *из самих себя*. Человек – это единственное животное, которому удалось уйти в себя. Выходя из себя, он возвращается к зоологическому существованию. И тогда – человеческая жизнь ничего не стоит, как жизнь барана или быка. Исчезает свобода духа. Из-за кулис, глумливо ухмыляясь и даже виляя бёдрами, вытанцовывают ложь, воровство, насилие и убийство. Как только человек действия выходит на историческую сцену, главной оперной арией звучит фраза „Кошелёк или жизнь!“. Тем, кто интересуется, сколь гибельны хищения и коррупция для любой великой культуры, советую присмотреться к печальному концу имперского Рима – и Первого, и Второго, и Третьего...».

– А этого Гайдара с Чубайсом лично бы придушил. Вот этими руками. – Сосед протягивал над рас-терзанной закусью крепкие, загорелые, поросшие светлым выгоревшим волосом клешни.

– Да, да, это очень верно, – бормотал Павел Евграфович.

– Что верно?

– Придушить. Именно так, коллега.

«Жить – значит быть вынужденным что-то делать. Но так же и быть вынужденным о чём-то мыслить. Последнее – удел человеческого бытия. Если ты не мыслишь – тебя нет. И ты можешь пребывать лишь в качестве угрозы для чужой жизни и чужой мысли.

Жить – значит понимать опасность и видеть нищету нашего духа, сдавленного плотью, и предчувствовать полноту существования. *Именно здесь находится дно интегральной метафизики существования: печаль и надежда неразделимы*».

– А президент, говорят, еле выполз из самолёта и начал ссать прямо на шасси. Охрана стоит и смотрит. Журналисты какие-то. Представляет?

– Да, да – говорил Павел Евграфович.

– Что да-да? – обижался сосед, раздирая зубами копчёную курицу. – Вы только посмотрите, где живём. Что за люди? Кто правит страной?

«Существует множество различных способов умереть. Но всё это виды человеческой смерти. В то время как для животных смерть является естественным событием, микроскопическим звеном в жизни биосферы, для людей смерть – это проблема. Странная и сложная драма.

Телесная смерть не может затронуть дух. Моя личность в её собственной сущности не призвана к смерти, но лишь к вечному совершенствованию.

Человеческая жизнь – награждённая смертью – является этической самоконструкцией. Мы не можем жить, по крайней мере, по-человечески, чтобы не руководить каким-либо образом, нашей жизнью. Когда мы творим – а жить означает творить – мы это делаем для что-то. Создаём жизнь. Когда мы не-творим, мы жизнь уничтожаем. Не-творчество есть грех. Иудин грех.

Мы обязаны сделать свою жизнь творческой и целостной, используя для этого наше собственное призвание. Человеческая жизнь имеет структуру призвания: призыв, ответ и миссию. Призвание нельзя унаследовать или выдумать – его можно только открыть. Пока мы не совершим это открытие, мы в долгу перед самими собой. Перед своей жизнью. И перед своей смертью».

– А этот разь[...]ай, сволочь и крикун! Пролез в Думу и делает бабки. Да ещё какие!

– Несомненно, – отвечал Павел Евграфович.

«Если бы мы изначально были целостностью, наша жизнь не была бы опасной. А дух нищим. Возможно, исчезло бы давление смерти, иссушающее давление Небытия. Но так как мы представляем собой одиночество и беспомощность, которые только в проекте могут стать целостностью, наша жизнь находится в неизбывной опасности. Жизнь оказывается непрерывной тревогой, постоянным охранним действием. Мы не можем избежать опасности разочарования, провала. Наша жизненная позиция, наш разум и наша будущая судьба никогда не могут быть гарантированы.

Ибо прежде всего мы – не-целостность. Человек живёт в надежде стать чем-то большим. В противном случае дух замедляется или отвлекается. А в отвлечении от бытия не будет ни мира, ни удовлетворённости. Будут опустошение и грех. Кто-то послал нас в дорогу. Но, имея довременное Ничто, мы в любой момент можем отправиться путешествовать в новое Ничто: к вине. К преступлению. К предательству. К убийству. Бессмысленно, даже с внутривременной точки зрения, рассматривать дорогу как таковую, считая, что она никуда не ведёт. Всегда ведёт куда-то...

Надо искать полноту, но не отвергать неполноту, ибо неполнота – всего лишь ступень. Неполнота страшна, если она отрицает полноту.

Мы всегда живём надеждой. Желаемое будущее может исполниться. Существует, однако, в этой надежде уверенное ожидание, которое опирается на Кого-то. Мы не доверяем вещам, не доверяем людям. Но невозможно основать жизнь на безнадежности. Только надежда – фактически авантюрная, ещё ничем не оплаченная – проникает сквозь времена и основывает жизнь. И отодвигает в глубокую тень смерть. Печаль, в которую мы помещаем то, что угрожает нам, никогда не может полностью исчезнуть, однако, мы всегда стараемся направить себя в сторону надежды. Как и мужество, надежда должна быть определённых размеров. Её избыток приводит к самодовольству, её недостаток – к отчаянию. В то время как самодовольство – это ничем не оплаченная преждевременность цельности, отчаяние – это преждевременное ожидание падения, провала, приговора».

От слова «приговор» Ходырев вздрогнул.

«Почти весь мир – в отчуждении и тревоге. Нами утрачивается главное качество – способность самостоятельно думать, погружаться в себя, быть верным себе. Человеку как воздух необходимо достигать согласия с самим собой. Но самоотчуждение заволакивает взор густой пеленой, ослепляет, душит, заставляя действовать слепо, бездумно, подчиняясь чужому компасу.

Сейчас повсюду толкуют о правах, общественном мнении, о хорошей и плохой политике, о пацифизме, экологизме, терроризме, о жестоких и безумных убийствах, о серийных маньяках, о смертной казни, о воздаянии, о высшей справедливости... В мутной толкотне этих слов подкрадывается новая и незнакомая война. Человека с человеком и человека с природой. В том числе и со *своей природой*. Схватка будет ожесточённой. Опытится ли народ, у которого хватит гениального хладнокровия свести к минимуму возможный ущерб? Защитить остров жизни от надвигающегося океана смерти? Есть, есть такие знаки – белые барашки на начальной, невысокой волне – свидетельство надвигающегося урагана. Оглянемся вокруг...».

«Оглянемся...» – негромко сказал Ходырев.

– А что, дорогой сосед, не соснуть ли часок?

– Соснуть. Обязательно.

– А с другой стороны, уже вечер скоро. Хватим ещё по рюмашке и тогда уж заляжем.

– Да нет, спать, спать... Очень правильная мысль.

«Всеобщее призвание человека к вечному спасению неотделимо от конкретной сущности каждого человека. Я являюсь самим собой в великой функции производителя собственного спасения. Моё призвание к вечному спасению формирует главную часть моей метафизической реальности. Отдельные и конкретные способности не могут быть вне орбиты всеобщего призвания человеческого существа. Призыв к истинному добру – единственное, что может спасти человека – оправдывает все остальные блага, которыми они являются в той лишь мере, в какой участвуют в высшей Доброте. Мы, без сомнения, являемся проектом спасения, который должен реализоваться. С одной стороны, мы реализуем себя как самих себя. С другой – нам помогают Свыше реализовать себя, преодолевая собственные границы. Готовы ли мы принять эту помощь? Готовы ли шагнуть за барьеры? Перелиться через границы обуженного бытия? Постигание миссии, которую каждый из нас должен выполнить в расширяющемся поле, чтобы спастись, действительно является подлинной мудростью.

Со своей стороны, я хотел бы опробовать новый путь приближения к Богу. Моё стремление к целостности, органически взаимосвязанной с моим онтологическим одиночеством, с моей радикальной недостаточностью, взрывающейся подобно контрапункту в музыке, требует Пребывающую и Бесконечную Целостность – как знак, как символ, как цель. Если существует наше стремление к целостности – а это необоримая правда – то всегда существовала Целостность предвечная. Если бы её не было, то чего бы стоили наши конкретные жизненные стремления? Без опоры на Бога, изначальной и окончательной, моё конкретное стремление к целостности бытия – свидетельство высокого предназначения человека – не нашло бы решения».

– Где это мы едем? Хутор Михайловский, что ли?

– Какая разница? Дальше Москвы не увезут.

– Ну, кого как. Мне потом ещё на Екатеринбург.

– Да и мне в Тверь. А потом в свою районную дыру.

– Небось, хорошо у вас там? Тихо?

«В космической философии смерти – нет. В ритмах космической эволюции смерть сливается с новым рождением».

– Тихо.

– А со снабжением как?

– Угу.

– Что угу? – сосед собрался обидеться.

– Да всё так же.

– Ну уж? – не поверил сосед. – Это раньше было снабжение. Теперича рынок, как известно. Свободный! – Он иронически свистнул. – Знаем-с. Всё есть. Были бы турики.

«Иногда говорят, что самоубийство может быть благородным или даже праведным. В частности, ссылаются на мученическую и героическую смерть Сократа. Мудрец в собственные руки принял чашу со смертельной цикутой. Но разве он сделал это не по решению афинского суда?».

- Да нет, всё-таки надо залечь. Или ещё по маленькой?
- Нет, спасибо.
- Не компанейский ты человек.

«В нас сидит древний инстинкт убийства. Чем цивилизованней человек, тем глубже инстинкт этот запрятан. Тем мучительней подает он знаки, смутные, парапающие... И тем извратливее человек ищет выход для этого чувства, придумывая для себя бездну внешне разумных оснований. Именно это чувство движет благородными революционерами и справедливыми судьями. Убить – чтобы улучшить жизнь. То есть лепить жизнь – смертью. Слово «справедливый» я не могу произнести здесь без горькой усмешки. Сколь часто, в порыве оправдать институт смертной казни, распяляет себя человек ужасными сценами преступлений некоего ворвавшегося в его воображение героя, чтобы затем страстно (или даже сладострастно?) крикнуть – распни его! Но распинают-то не вымышленных, а реальных людей из костей, мяса и нервов».

Ходырев поёжился, потом отвернулся от книги и долго смотрел на монотонно бегущий темнеющий пейзаж за окном. Сосед шумно крутился на своём диване. Ходырев тоже прилёг. Включил лампочку над головой.

«Одна из максим Канта призывает нас быть готовыми наказать убийц. Что ж, быть может. Впрочем, одно дело – обнажить меч против разбойника на дороге. Совсем иное – навалиться всей мощью государства на уже обезвреженного, связанного, одинокого. Не есть ли это тупая месть машины? Не связывает ли каждый, участвующий в этом государственном заговоре против одного поверженного, свою душу с дьявольским началом? И где тут Христос? Его сподвижники носили меч, это правда. Но не для того, чтобы приканчивать кого-то на заднем дворе.

Вам приходилось читать эти гневные, мстительные, призывающие к государственному убийству статьи, видеть эти телевизионные дебаты о смертной казни – быть ей или нет? Когда румяные молодые люди, равно как и гневные старушки, с несравненным азартом кричат: ату их! Казнить негодяев! Смерть им!

Господи, кого казнить? Кому смерть? О ком это они? Оказывается, о тех преступниках, которые стоят в их воспалённом воображении. Им видятся ужасные сцены убийств, растерзанные трупы замученных, истерзанных детей. И им ведомек, что картины эти – прежде всего язвы их собственного сознания. Чего-то, запрятанного в самые глубины. Ведь это со своим бессознательным – чёрным и страшным – сводят они счёты. Но как горят их щеки! Как светятся праведным гневом глаза! Смерти требуют они!!

Как легко играть на этих инстинктах».

Прервав мерный храп, сосед застонал. Отчётливым и печальным стоном. Приснилось что-то, подумал Ходырев.

«Слишком много вокруг людей и вещей, звуков и запахов. Но чем больше возможностей и соблазнов, тем более растерян человек.

Ещё Античность великолепно понимала трагическую ограниченность человека: что бы он ни делал, какое бы геройство и величие духа ни проявлял, он не мог противостоять неотвратимому року. Человеческий замысел всегда кончался сокрушительной катастрофой. Гуманистическому мировоззрению удалось прикрыть это понимание оптимистическим флёром. Но мировые войны, кровавые диктатуры, технологические и экологические тупики сорвали этот занавес. Великая культура оказалась в кризисе, потому что Бог умер, то есть, исчез из поля зрения людей и из их душ, а человек, новый бог, развенчал себя сам.

Чувствуя непрочность и пустоту существования, в стремлении разрешить ситуацию, человек забивается в угол, на периферию жизни, надеясь там зацепиться, укрепить свой отмеренный мирок. Но это мнимое решение, всего лишь бессознательная попытка уйти от тотального отчаяния, которое чаще всего выступает в форме раздражения и ожесточения. В стремлении отрицать собственную жизнь ожесточение это поначалу направлено вовне и склонно уничтожать чужие жизни. Но неизбежен, неизбежен поворот стрелы в сердечное сплетение собственного бытия».

Дак-дык, дак-дык, дак-дык – стучали колеса.

«А теперь, внимание, читатель! У тебя есть возможность увидеть, ощутить собственный рубеж. Ведь в книге описана и твоя смерть...

...Судья из *Сьёдад-Хуареса* смотрит и бледнеет. В зал вводят его собственного сына».

Павел Евграфович pokrылся испариной. «Петька!» – хрипло прошептал он.

Поезд медленно подъехал к перрону. Пассажиры зашевелились. Шумный сосед неожиданно быстро собрал свои монетки и тихо исчез, на прощание лишь подмигнув.

Выходя из купе, Павел Евграфович даже боялся оглянуться на книгу. Она осталась сиротливо лежать на столике. Не довелось ей достаться по наследству шумному соседу. Ждёт кого-то другого.

До Твери он доехал электричкой. Оглядел залитую уходящим солнцем площадь. В другой раз ему подали бы машину. Но он не стал никому звонить и сел в междугородный автобус. Через полтора часа был на месте. К дому подошёл с тяжёлым чувством. Дверь открыла сестра Алевтина.

– Ты? А Лиза где?

– Ты разве не получил телеграмму?

– Нет.

– Я посылала. Только не волнуйся, Папа. В больнице она. Инсульт. Но не сильный. Уже выкарабкалась.

А я за домом присматриваю.

– Ты мне скажи, Петя жив?

– Ой, ты что? Конечно.

– Где он?

Сеструха дёрнулась, рот её перекосился.

– Посадили его, Пашенька, – сказала шепотом, – он человека убил.

Ближе к ночи позвонил Карельских, бывший зампред исполкома. Сейчас он председательствовал в акционерном обществе, занимавшимся мукомольным делом.

– Не тушуйся, Павел, – сказал он ровным баритоном, – мы его выгасим. Там понимаешь как? Местные брехуны уже раструбили, что это бандитские разборки. Понял, в кого метят? Ты понял, Папа? Мерзавцы! А на деле-то парень стрелял, защищая свою жизнь. Это можно точно показать. Короче, этой версии и будем держаться. Сейчас с делом знакомится Пивник. Ты ведь знаешь его. Работает без осечек.

Положив трубку, Павел Евграфович долго смотрел на почерневшее за окном небо. «Нет, это слышком, – подумал он, – это уже чересчур. Как круто замешана эта жизнь. Но не мы ли накидали семян?».

*«Истинно отчаявшийся человек, до поры не сознающий своего отчаяния, замечает вдруг, что серой и даже чёрной становится вся жизнь, и нет в ней уже места, где бы человек чувствовал себя уверенно».*

Утром он был в больнице. Его жена слабо улыбнулась перекошенным лицом и сказала:

– Вот, Пашенька, жизнь была. А вот и смерть подошла.

– Молчи, мать, – сказал Ходырев. – Про жизнь и смерть я теперь сам всё знаю.

*«Без любви и милосердия жизнь не была бы достойна того, чтобы её прожить. Милосердие раздвигает границы неба. Из-за сизого облака пробивается луч. Любовь придаёт крылатую вольность судьбе человека, приводит пустоту и нищету к цельности и свету. Милосердие затягивает раны бытия. Стремление отдать себя, распространиться и наслаждаться этим распространением – вот смысл и назначение любви. Только тот, кто способен переливаться через край, может собрать себя. Ни я, ни кто-либо другой уже не нужны. Мы посланы существовать благодаря любовной воле Кого-то. В этом смысле мы оказываемся производными бытия, которое делает нас любящими и которое является Подлинной Любовью. С высшей её точкой нас связывает приход в этот мир.*

*Но есть ещё и низшая точка – точка ухода.*

*Нет любви – нет и бытия. Нет силы прощения – нет бытия. Речь не идёт о приговоре, но о договоре. О силе доброго и свободного слова. Любовь и милосердие – два живых чувства, благодатных и устремлённых от человека к Богу и от Бога к Человеку.*

*Мы наслаждаемся бытием, потому что наша жизнь не лишена смысла. Без этого наслаждения бытием наша жизнь оцепеневает».*

Павел Евграфович Ходырев в домашних шароварах и старенькой кофте стоял на балконе, опираясь на перильца, и задумчиво смотрел вниз, в восьмизатяжную глубину. Двор был пуст. По нему медленно и как-то боком шёл тракторист Кузовков. Сверху он не казался таким уж худым и нескладным. Нет. Обыкновенный человек идёт и что-то бормочет. Павел Евграфович прислушался. «А хули сделаешь, – рассуждал тракторист, – коли жисть такая грёбаная? А смерть ещё больше п[...].анутая. А они все на тебя... А хули?». Павел Евграфович поморщился. Сам он крепко мог послать по матушке, в соответствующей обстановке, конечно, но не любил, когда это прилюдно делали другие

Тракторист поднял голову, посмотрел глазами, в которых не было ненависти. «Природа шепчет мне с любовью свои заветные слова...» – пропел он неожиданно высоким голосом. Потом опустил взор, взял круто направо и стал удаляться, странно накренившись. – «Россия, Россия, твои бескрайние поля...» – донеслось из-за грязно-белого куба электроподстанции. «Россия – родина моя...». А у парня есть слух, подумал Павел Евграфович. Вернее сказать, *был* слух.



Вслед за трактористом за здание подстанции потянулась целая процессия. Ходырев сообразил – это ведь все те, кого осудил он за немалый свой жизненный срок в стенах народного суда. Теперь это называют – *обвинительный уклон*. Легко им нынче судить. Шаткие фигуры из длинной серой процессии шли лёгкой походкой и пропадали за белым кубиком неслышно. «Не судите, да не судимы будете». Павел Евграфович никогда не заглядывал в Евангелие. А Ветхий Завет видел лишь раз в жизни, и то издали – много лет назад пухлая книга в чёрном глухом коленкоре лежала на столе среди прочих вещаков. Судили группу сектантов.

Внизу проходил философ Хосе Рамирес. Он приветственно махнул судьбе рукой. Павел Евграфович сразу его узнал.

– Прохлаждаетесь, друг мой? – спросил мексиканец. Лёгкий ветерок приподнял серебрино-чёрные волосы над его смуглым печёным лицом.

– Какое там! – сердито ответил Павел Евграфович. – Я думаю. Напряжённо думаю.

– О чём? – изумился Хосе. Его жёлто-карие глаза горели.

– Да вот, о жизни и смерти. О смертной казни. О грехе.

– О, друг мой! Как это своевременно! Я давно хотел поговорить с вами об этом. О жизни. О грехе. И о смерти. О последней особенно.

– И я хотел.

– Так за чем дело стало?

– А как это сделать?

– Спускайтесь сюда.

– Прямо сейчас?

– Другого случая, боюсь, не будет.

– По лестнице? – с осторожным ужасом спросил Ходырев.

– Ну, уж нет, дорогой сеньор, – усмехнулся Хосе. – По лестнице вам не успеть. Я ведь здесь ненадолго.

– А как же, если не по лестнице?

– Да вы знаете не хуже меня, – пророкотал со смехом мексиканец. – Вы ведь уже на две трети свесились.

Осталось чуть-чуть.

– Но ведь самоубийство – это двойной грех – перед жизнью и перед верой, – защищался Ходырев.

– Если в полном сознании, тогда грех. А если в трагический момент болезни, то кто ж осудит?

А у вас вон какие глаза. Так что спускайтесь.

– И мы поговорим?

– Не сомневайтесь.

– Правда? – с последней надеждой спросил судья.